



Р. В. СВЕТЛОВ

До Витгенштейна ли Дамаскию?

Неоднократно отмечалось, что знаменитый «лингвистический поворот» в европейской философии начался с выхода в свет знаменитых сказок Льюиса Кэрролла об Алисе. Наиболее показательным является то место, где один из самых странных персонажей Кэрролла, Шалтай-Болтай, заявляет: «Если я употребляю слово, оно означает ровно то, что я решил». Удивленная Алиса задумывается: «А можно ли сделать так, чтобы слова означали что-то другое?»

В дальнейшем европейские философы по-разному отвечали на этот вопрос, не пытаясь отмахнуться от очевидных парадоксов, поставленных персонажами Кэрролла и их многочисленными подражателями из ученой среды XX столетия.

Наиболее выдающимся представителем «лингвистической» линии в философии прошлого века стал Л. Витгенштейн. Хотелось бы, прежде всего, остановиться на нескольких идеях, высказанных им в «Философских исследованиях», подытоживших многолетние искания мыслителя.

Напомним, что одно из основных убеждений Витгенштейна в том, что любая философия — это критика языка. В зрелый период его творчества этот тезис оказался дополнен интересом к обиходному использованию языка. Витгенштейна стало интересовать использование языковых знаков в рамках конкретных обиходных ситуаций и вызванного ею специфического поведения (т. н. многообразие языковых игр). По мнению философа, значение знака определяется его употреблением,

Витгенштейн пишет: «Главный источник нашего недопонимания в том, что мы не обозреваем употребления наших слов. Нашей грамматике не достает такой наглядности. Именно наглядное действие рождает то понимание, которое заключается

в усмотрении связей»¹. Отсюда следует, что язык не представляет собой покоящейся системы, изменения в которой происходят только в периоды каких-то культурных катаклизмов. Слова и предложения полифункциональны, их смысл связан с их конкретным употреблением. «Значение слова есть то употребление, каким мы его наделяем»². Антиметафизический настрой Витгенштейна, который в «Логико-философском трактате» он выражал следующим образом: «Всякий раз, когда кто-то захотел бы высказать нечто метафизическое, [философ должен] доказывать ему, что он не наделил значением определенные знаки своих предложений», только усилился в поздней группе текстов Витгенштейна.

При этом М. С. Козлова заметила, что онтология Витгенштейна, не касаясь «вещи в себе», разделяется на феноменальную сферу объектов, на которые направлен логический анализ, и столь же феноменальную сферу предметов, участвующих в эмпирических ситуациях. Истинность утверждений открывается, только когда мы соотносим логический вывод с эмпирической ситуацией: этой процедуре посвящены многие параграфы «Философских исследований». Эмпирическую же ситуацию характеризует то, что Витгенштейн называл «применением слов». Один из наиболее его знаменитых образов — уподобление слова коробке, в которой лежат различные инструменты. Инструментализм в понимании значения слова разрушал незыблемую привязку знака к значению (классу значений), делая акцент на контексте языковой игры. Когда изменяются языковые игры, тогда изменяются и понятия, а вместе с понятиями — и значения слов. Но без учета ситуации языковой игры их раскрытие невозможно, — так можно подытожить размышления Витгенштейна.

Контекст «языковой игры» наш философ разбирает в своем сочинении «О достоверности». С его точки зрения говорить о действительности возможно лишь с определенной долей достоверности, которая озвучивается через уверенность говорящего. «Я убежден (знаю)» — это рассказ о моем некотором внутреннем состоянии. Вместе с тем это и есть ближайший критерий достоверности. Принятие этого критерия окружающими позволяет сформировать контекст языковой ситуации, при анализе которой философ должен наблюдать не смыслы, а способы употребления слова. Только таким образом формируется понимание. В резуль-

¹ Витгенштейн Л. Философские исследования. § 122 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994.

² Там же. § 138.

тате «философия просто все предъявляет нам, ничего не объясняя и не делая выводов».

Казалось бы, нет ничего более далекого от концепции Витгенштейна, чем античный платонизм. В диалоге «Софист» Платон предполагает, что любое слово относится к существующему (а не к представлению), следовательно, слово имеет прямое отношение к прояснению и раскрытию бытия. «Согласен ли ты, что если кто-то говорит о чем-либо, тот необходимо должен говорить об этом как об одном?.. А сочтем ли мы возможным, чтобы к небытию когда-либо присоединялось что-либо из существующего?.. Всякое число ведь мы относим к бытию. <...> Следовательно, говорящий не о чем-либо, как видно, по необходимости и вовсе ничего не говорит»³.

Это предположение вызывает известную апорию о невозможности лжи. Упуская подробности, приведем решение этой апории: «Когда мы говорим о небытии, мы разумеем, как видно, не что-то противоположное бытию, но лишь иное»⁴. Лжи, которая в обыденном мнении понималась как речь о не-существующем, Платон противопоставляет представление о том, что ложь вещает нам лишь об относительном небытии. Когда говорится неправда, происходит своего рода подстановка: на месте одного предмета оказывается иной. Но бытийная предметность речи никуда не исчезает: о том, о чем нельзя говорить, речь невозможна. Диалог «Парменид» и «Письма» Платона только усиливают этот вывод из его текстов.

Вместе с тем в относительно раннем диалоге «Кратил» мы сталкиваемся с инструментальным пониманием речи и имени, правда, в иной, чем у Витгенштейна, трактовке. Имя, по мнению Платона, — инструмент, который соответствует предмету, подобно сверлу или огню. Имена должны соответствовать вещи по природе, а не «по установлению». Только в этом случае они раскрывают сущее, предъявляя его слушателю. Поиск однозначного соответствия, предпринятый в «Кратиле», не приводит к положительному результату, завершаясь призывом изучать не имена, а идеи, как подлинную реальность. Таким образом, магическому взаимно-однозначному соответствию имени и вещи, по крайней мере вне рамок религиозно-теургических действий, Платон отказывает в истинности.

Вместе с тем попытки найти звуковые референты «бытийного звучания» предмета очень любопытны, так как они показывают

³ Платон. Софист. 327с-е. Здесь и далее перевод С. А. Ананьина.

⁴ Там же. 357b.

наш внутренний настрой на контекст «языковой ситуации». Древнегреческое «ухо» очень хорошо чувствовало это и неоднократно пыталось передать внутренний «характер» слова, например, во время процедуры толкования смысла какого-либо понятия через его этимологию.

«О чем невозможно говорить, о том следует молчать», — утверждал Витгенштейн. Он не один раз обосновывал это следующим тропом: то, что не познаваемо, не может быть выражено и в языке. Соответственно, мы можем лишь стремиться обнаружить пределы познания и языка, но никогда не сумеем «посмотреть на них с той стороны».

Однако и сам поздний Витгенштейн, и некоторые традиции, идущие от его творчества (например, лингвистическая апологетика), не могут не признать наличие некоторых ситуаций (языковых игр), когда язык совершает попытку трансцендировать за свои пределы.

Речь идет об апофатических суждениях о Первоначале. В античной философии они лучше всего представлены именно среди последователей Платона. Опираясь на известные места из «Государства», «Филеба», «Парменида» и «Писем», неоплатоники, начиная с Плотина, выстраивают стратегию понимания Первоначала, в которой важную роль играет именно апофатика. Но здесь возникает проблема: апофатическая диалектика приводит к выводу о том, что Единому невозможно приписать предикат существования. Поэтому для Единого «как такового» оказывается невозможно не только его интеллектуальное познание, но, в принципе, и сказывание о нем.

Между тем, неоплатонические тексты наполнены рассуждениями о едином — и не только о едином сущем (проблематика 2-й гипотезы «Парменида»), но и о едином «таинственном». Возникает парадоксальная ситуация, когда наша речь формирует некоторую предметность, которой невозможно законное приписывание бытия. Вот некоторые из цитат последнего великого античного философа, завершающего плеяду диадочов Академии, Дамаския: «Прежде единого имеется попросту и всецело неизреченное, непредположимое, несопоставимое и никоим образом не мыслимое; к нему-то и устремлен самый путь восхождения»⁵. «Неизреченное — предмет мысли, который не только не произносит сам не одного звука, но и возлюбил беззвучность и благоволил к такому безыскусному неведению». «Поскольку единое столь велико, строить предположения в отношении его в качестве

⁵ О началах, I.38, 22–25. Здесь и далее перевод Л. Ю. Лукомского.

таинственного необходимо как о едином таинственном охвате всего разом, столь таинственным, что он является вовсе даже и не охватом, и не является, и не таинственным»⁶.

Выбраться из возникающей апории оказывается возможно лишь при принятии утверждения Витгенштейна, что языковая игра не формальна, но демонстрирует нам «миры» ее участников. «По достижении высших родов» (выражение Плотина) сверхсущее присутствие Начала становится достоверностью, которая находит в нас отражение. Вот что говорит об этом Дамаский: «Если бы некто, приходя в недоумение по данному поводу, сказал бы, что в качестве начала хватит и единого и сделал бы тот окончательный вывод, что ни понятия, ни предположения, более простого, чем само единое, мы иметь не можем, так вот, как при таких условиях мы будем строить предположения относительно чего, потустороннего последнему предположению и мысли?... Однако <...> существует некое совместное ощущение этой блистательной истины, основанное на переходе от вполне нам знакомого к неизреченному, когда необходимо *привыкнуть к родовым мукам неизреченного в нас* (Курсив мой. — Р. С.)»⁷.

И еще: «Разве мы могли бы высказывать подобное предположение в отношении этого начала... если бы в нас самих не было некоего следа, стремящегося к нему?»⁸.

Таким образом, в позднеантичном дискурсе мы обнаруживаем настоящую рефлексию над техникой речения о том, что не относится к сфере стандартной «платонической» онтологии. Вместе с практикой многозначительных умолчаний и невысказыванием она придает неоплатоническим текстам утонченный мистический оттенок. И, наряду с этим, перекликается с современной проблематикой «языковых игр», которую Л. Витгенштейн разрабатывал, казалось бы, решая совершенно другие задачи. Все это доказывает, что финал позднеантичной философии был вызван не «исчерпанием» ее проблемного поля, но историческими обстоятельствами, в которых она находилась.



⁶ Там же I.41.18–20.

⁷ Там же. 1.5, 15–20.

⁸ Там же I.17.25.